
Антон ЗАНЬКОВСКИЙ

ЧЕРНАЯ КАЛИТВА

Поэма в прозе

Тот, кто поддался волшебству нахлыста, осваивает, как правило, и вязание искусственных мушек, которое для большинства нахлыстовиков, наряду с самой ловлей, становится прекрасным увлечением. Даже если мушка получилась неудачной, не надо отчаиваться. Продолжайте работу, совершенствуйтесь, и тогда то, что вам сегодня кажется невозможным, завтра будет само собой разумеющимся. Есть и еще одна сторона проблемы. Когда вы становитесь изготовителем мушек, то понимаете, что это та деятельность, которая обогащает вашу личность. Она предъявляет большие требования к вашему воспитанию, обязывает наблюдать природу, развивать свои творческие способности.

Милан Курноцик. *Энциклопедия нахлыста*

1. Кармелита Куприяновна каждое лето грозилась отвергнуть флору и землю, не растить томаты-огурцы, не выхаживать клумбы, не бороться с травами сорными, заасфальтировать двор или просто залить его глиной, а потом отвердить в огне колоссального костра. Такой Армагеддон предрекала Куприяновна, выдергивая резеду, вырывая бурьян вездесущий, ползая землеройкой-медведкой в дебрях и кушах, портя ногти, грязня пятки, плюясь. От натуги лопались сосуды в глазах Кармелиты, и та божилась, что бросит поливать штокрозы, пренебрежет крыжовником, презрит работу и кинет сад на растерзание сорной гуще. Но причитала с виноватым видом, словно бы отказывалась от приемыша, ставшего лунатиком небезопасным: еженощно бродит по дому с кухонным ножом туда-сюда, просовывает лезвие в щель под дверь, ходит сынок неродной с открытыми глазами-ртом, с растопыренными пальцами на ногах, с подвижным кадыком, завертывает в спальню и говорит, папа, говорит, я хочу тебя убить, мама, я тебя хочу, потом вопль. И точно так же, подобно сыну-лунатику, которого надобно сбить, но совестно почему-то, растут розовые томаты, зеленые бородавчатые пальцы огурцов, руккола и салат, щавель и свекла, садовые деревья и акации, которые Кармелита грозилась выпилить, ввергаясь в приступ нигилизма. Кому грозилась? Престарелой матери, а той уже все равно было, хоть бы даже лианой зарос видимый мир, хоть бы даже исполинские одуваны мороком седым затуманили заоконье.

Антон Владиславович Заньковский родился в 1988 году. Печатался в журналах «Логос», «Нева», «Опустошитель», «Acta eruditorum», «Апокриф».

Равнодушной оставалась мать Кармелиты Куприяновны Аполлинария Марковна, ибо не представляла весь размах беды, разроет беды-лебеды оком, куда ни глянь — всюду поднималось зеленое, ветвисто-ползуче-струящееся, цветущее и сохнущее, жирно-сочное и болотно-бледное, с прожилками, с корневищем дерзко врастающим. Вокруг зарос хутор Черная Калитва, сторожащий периферию Великой Украинской Империи.

2. ВУИ — такой звук издают мальчишки, подражая ветряному взвизгу быстроходных машин: в-в-вуи-и-и-и, поехали, камрады-читатели, в путь, двинемся же стезею родины длинной, чей контур напоминает взбеленного коня с индюшачьей бородой и выменем. От южных шаверм до якутских острогов славься, страна, мы гордимся тобой, Украина. Велика твоя столица, костяк империи, красный град Магритт, но не менее велик его младший брат, превзошедший старшего дворцовой и домовой архитектурой, — Гуигнгнм, велика и глубинка, тяготеющая к Флоре, вьющаяся, изнывающая гниловатым ароматом гашиша, блестящая черной чешуею речной рыбины. Периферия, мать таинственности, укрой нас в полумраке своем, соскреби патину с общей души нашей, одной на всех, и завари ее вместо иван-чая; глубинная глубинка, раком хвостатым, клешнястым глядящая вверх, туда, где свет с насадой пробивается сквозь толщу зеленоватых вод, мне радостно смотреть глазами твоими, созерцать донца лодок, животы пловцов, небо далекое с редким облачком. Где-то здесь, на дне, полузарывшись в донный песок, перловицей гладкой бороздит неподатливое пространство Кармелита Куприяновна, в то время как мать ее, Аполлинария Марковна, весь день созерцает звезды с помощью астральной трубы — прибора, проникающего светло-голубую незрячесть атмосферы: ведь подчас, чтобы стало видней, надобно затемнить. Астральная труба в любое время дня позволит вам наблюдать эклиптику. Приехала теща и требует срочно составить ей личный гороскоп? Не вопрос! Астральная труба поможет вам справиться с любой непредвиденностью. Закажите трубу прямо сейчас и получите в подарок фиолетовый колпак чародея. Ибо каждый житель-гражданин твой, о Украина, чародей. Господи, разве надо писать о том, что известно каждому ясельнику, каждой первоклашке со скособоченным бантом? Уже многие менестрели воспели победы твои на десятке языков дружеских и общеприветливых. Скромно, с челом, опущенным долу, позволю себе лирическим напевом этих стыдливых строк застенчиво войти тихими стопами в соборный хор твоих братских народов, Украина! **3.** И сожгла-таки, прежде залив двор глиной и обнеся его бетонной стеной, дабы огонь не перекинулся на соседские усадьбы. Горело смачно: пламя единой шапкой поднялось над круглой и твердой стеной, выжгло все в пепел и вытвердило глину. Теперь можно было выплясывать чечетку на прекрасно-ровной поверхности, похожей на донце крынки. Нетерпение заставило Кармелиту надеть железные боты, чтобы по дымящейся еще, горячей твердыне проскакать с веником, вымести золу выгоревшей флоры, хаты, сарая, сарая. Ровная дыра сбоку двора напоминала о колодце, сгоревшем вместе с ведрами. Площадка с отверстием, на дне которого бурлил еще кипяток, — таков был двор. Эксперты, привлеченные к выяснению причин пожара на хуторе Черная Калитва, исключили, что происшествие случилось из-за электропроводки, и считают версию поджога основной. Как рассказали журналистам в полиции, на поджог также указывают многочисленные показания свидетелей и характер распространения огня. При этом в правоохранительных органах заявляют, что предстоит еще сделать большой объем работы, прежде чем дело будет направлено в прокуратуру. И вдруг, когда остыло, собачка зашла, видимо подкопав бетонную стену, понюхала копченый глиняный двор, облизнулась. **4.** Похожая на лисицу сучка породы ларс фон терьер — ее Кармелита помышляла сжечь вместе с конурой и была даже уверена в том, что Зараза — так звали псину — в домике своем запеклась, как утка в тесте, как Аполлинария Марковна в клозете. Но Зараза вовремя слиняла, незаметно и юрко, а теперь повиливала хвостом и недо-

уменно слабилась — за этот недоверчивый оскал, за трусливую прижимистую походку, за то, что имела привычку испуганно сбегать под забор, оглядываясь, словно битый вор, — за это хотела погубить собаку Кармелита Куприяновна, не беря в расчет щенячью травму: выплюнул ее ротвейлер, отгрынул, огретый дубиной по хребту. Зараза, как и другие ларс фон терьеры, предназначалась в корм для вольерных псин и чудом только убереглась, приглянувшись кому-то, но не Куприяновне. К ней Заразу угораздило попасть после череды приключений: сперва сучку били палками двуногие, потом драла свора слюнявых помочных четвероногих, одаривая несоразмерными щенятами, которые затем, выбираясь из Заразы, рвали ее чрево лобастыми башками. Когда Ананке турнула ее на хутор Черная Калитва в добрый передник Марковны, Зараза заспешила жить вольно, сопрягаться и рожать неистово, в собачьем уме имея не мысль, разумеется, но запах мысли о том, что надо выпрастывать как можно больше себе подобных, пахнувших схоже, чтобы не угодить всецело в пасть к ротвейлеру. Зараза как бы делилась на части, разрешаясь тройнями, — отпочковывала их; если даже ее, недоеденную, догонят и доедят, останется крупица, но не тут-то было: щенков принялись отнимать и топить в ведре — Кармелита и Аполлинария, опасаясь, что возникнет неуправляемая псарня. В отчаянном виталистическом порыве сучка Зараза раскапывала размокшие трупики, перемазываясь желтой и синей землей нашей великой Родины. Полоска синей земли, полоска желтой, трупик щенячий на стыке, лапы разного цвета, желтый зад, синий бок, синее брюхо, желтое ухо; ничего не поделывать, такова почва. Зараза беззвучно выла, отворяя немую пасть. **5.** И кусты, не умеющие ходить, шумели над оврагом, проклиная свободно-снующий ветер за его неприкрепленность, и надрезанные свиньи визжали слишком человеческими голосами, стремясь обмануть своих поедателей, задобрить родственностью звучания, и кольчатая горлица передразнивала кукушку, и рыба, обделенная голосом, выпрыгивала из воды, ударяла хвостом об воду, создавая плеск, чтобы причаститься звучащим тварям, и лисица в ночи орала, как помешанная баба с седыми лохмами, сожравшая своих детей с горчицей, и птенец, выпав из гнезда на ежиные иглы, издавал последний писк, будучи проткнутым. Все стремилось петь и пениться, разрастаться с помощью полового размножения или смертного разложения. Разрастаться-расползаться — отпрысками, струпами. Само ничтоженье, парящее мухами над плотью, есть слизь жизни. Потому что бессмертна Украина: сколько ее не бей, не урезай, только ускоришь прирост — принцип Горыныча: на месте срубленной головы две новые предстают. Поэтому любая псина, распавшись в гноище, тотчас вычавкивается рядом, выбулькивается из разжиженной синей глины, из желтого навоза, всегда чреватого новой тварью. **6.** И вот он тоже пыжится выпестовать себя из плоти буквенной мешанины здешней — герой, далекий потомок убийцы мастера чайной церемонии, с георгиновой поволокой узковатых глаз — герой не главный, потому как главного нет (паритетность второстепенных, мимоходных, бликовых), но все же имеющийся. Вспоминать ли его простудное детство, зачиханное в перьевых подушках аллергенных, его интеллигентного отца, западника, ипохондрика, Богдана Львовича, курившего табак с запахом тыквы, страстно крякавшего при виде любых монголоидок, напоминавших почившую жену Икуко? **7.** Крякал он и с досады, когда его редактуру-корректуру браковал очередной косноязычный автор или переводчик: тогда Богдан Львович божился, что больше не станет расставлять пробелы, раз и навсегда отвергнет полужирные начертания, бросит курсивы на произвол судьбы, пошлет к черту библиографии, отвернется от сносок, опечаток, стилистических грехов. «Пусть оно зияет во веки веков, нечего стесняться, так даже ярче проступают аллюр и настроение, ведь сам текст подсказывает: «...поэтому дзенский наставник Дахуй с ним не согласился и сочинил другое стихотворение». — «Так и сохраним!» — восклицал Богдан Львович, ударяя по клавишам своей пишущей биомашинки (соски вместо кла-

виш). Он полжизни копошился в чреватой мешанине знаков, он кое-что знал о коагуляции письма и творочности могучей речи, о навозообразном землевидном подножии БОга. Что же, припоминать ли его, Богдана Львовича, читавшего сыну «Нихон секи» в срок недозволенный, дошкольный, когда и без того ежедневен магизм прогулок под четырехное и деревянное, накрытое белым, уставленное всяким? **8.** Срок сей — возраст, в любимых и ненавистных местечках развеванный, закатившийся мячом под автомобиль — не достать; для Маэда возраст среднего детства стал светлой порой дружбы с Прасковьей, полоумной девой тридцатилетней. Горбатая Прасковья, мыгчащая слова, со вздувшимся животом и скобообразными ногами)(такими, на губах ее пена пузыряющаяся, из которой возникнет ли божество? Насморк носа ее — бульканье миров за рождающихся. На хуторе Черная Калитва, в сарае, притулившемся у предпоследнего двора за косогором, у выгона, на крайнем краю близ роши демонстрировала, раскорячившись на полу; с подхрапом гогоча, поднимала сарафан, высвобождалась проворно из несвежих трусов, пахнувших пряно, чтоб чудо свое показать. **9.** Но это еще не все, ведь Прасковья во время оно подглядела, как на лугу закачивают нектар в многомощный осеменительный агрегат: кишки шлангов прицеливались ароматными струями, нектаром Грунерта, в дребезжащие и маслянистые втулки, а механизм вибрировал и вращался на поршнях, гудел стартерами. А потом из машины выехали рессоры с тремя замшевыми сфинктерами: дрогнув, они полили землю густым генетическим соком. Ничего не вышло, как ни пытались повторить: Маэда разглядывал не одетую Прасковью в полумраке сарайчика, в то время как она теребила его маломощный агрегат, желая добыть сходственный сок, но было сухо. Ему нравилось. Поутру Маэда прибегал под окно к Прасковье, еще до первого завтрака, стучал, прятался, она вылезала из-под простыни в ночной рубашке, сопливая, с невымытым колтуном на башке, кокетливо почесывала горб коротенькой лапкой, с подхрапом гогоча, улюлюкая по-идиотски, дразнилась о разрезе глаз его (точнее — разрезы лица для глаз) — указательными пальцами оттягивала кожу от вежд к вискам, суживая карие щели свои, потом ее двоюродная бабушка, Аполлинария Марковна, не успев еще зубы надеть, вдруг появлялась у него за спиной и почему-то недовольным тоном говорила, шамкая, чтобы зашел позже, после дежене. Без вставной челюсти Марковна была на себя не похожа, Маэда ее не узнавал: совершенно другой стиль жизни рожи. **10.** После второго завтрака Маэда и Прасковья играли под навесом в мешанину: ведро с жижей грязевой, цветочной-лепестковой, дождевой, проточной, с примесью муки, сахара, соли, дробленой раковины прудовика, глины, резеды, смородины, паслена, уксуса. Варили мешанину булькающую, чтобы отравить Люлю, девочку злую, воровку смородины; варили на самодельной печи, сложенной из кирпичей, опасно соседствовавшей с дровами, так что вскоре Аполлинария Марковна приказала разобрать. Но было поздно: мешанина приготовилась, Люлю поймали, насильно отворили ей рот и брызнули жидкой грязью туда, прямо в девчоночью пасть, после чего, падшие жертвой вероломного ябедничества, были хорошенько выкручены за уши, пропесочены и разведены по углам, чтобы порознь пускать грустные слюни расплаты. **11.** А пока они там стоят, медленно покрываясь пылью и возрастом, подходит уже печальный, как багатель Сильвестрова, — фрюктидор: любимая музыка года, свежий сплин для впечатлительных сердец, ноктюрн груш налитых, шершавая кожа лета вот-вот надтреснет, заструится новый год, наступающий, конечно, в бархатный сезон, а не в январе, как думают полинезийские варвары. И будет голубое небо мчаться над желтой землей, спотыкаясь о башни заголившихся коленок расставленных, торчащих из подсушенной травы, и будут стрекотать кузнецы и шмыгать туда-сюда ящерицы, упадет желудь за шиворот Маэда, низринется лист сухой и грянет в юбку Прасковьи задранную. И зафрюктидорит в рощах близ хутора Черная Калитва, где гогочущие гуси-лебеди высасывают чистое молоко, разлитое из крынки

в дождевую лужу неосторожной бабой; сосут гуси-лебеди, умело разделяя белизну и мать, вытягивают и задирают шеи вверх, чтобы жидкость скатилась по длинной трубе горла, и видят чистые гуси небо, спотыкающиеся небеса. **12.** Те же самые небеси, что двигались над старым домом, застрявшим в бытии безвременно, — зачем? Необитаемый дом в заброшенном дворе, где нарциссы распускались по весне для насекомых впросонках. У дома имелись голубые ставни, но цветность их почти выдохлась, стала вялым кивком в сторону прошлого, где схоронились люди, смотрящие сквозь окна и красившие ставни, люди, крившие крышу тростником, люди, жившие и говорившие о чем-то. Ничего не осталось, все поросло травой, но внутри дома еще громоздилась рухлядь, обитала талая предметность, являя себя сквозь треснутые, но сохранившиеся стекла; и страшные стены с полуоторванными обоями глядели друг на друга, и казалось, что вся эта внутренность замерла в кошмаре ненужного ожидания. Смерть уже ушла отсюда. Туда намеревались проникнуть Маэда, Прасковья и Люлю, помилованная воровка смородины. Рядом с домом стоял сарай с погребом, а между постройками был проход, затянутый паутиной, ведь пауки нарочно развешивают сети на дороге, чтобы показать свое искусство, но никто не замечает, не хвалит пауков, поэтому они со злобы принимают губить мух. Прорывая картины пауков, пробирались трое во мраке, пока не дошли до глупого окна: зачем дому вырыли этот глаз, обреченный наблюдать лишь бок погреба? Рядом лежал большой камень, и Маэда, недолго думая, слил в поцелуе камень с окном, чтобы зайти сквозь выбитый глаз в домовую утробу, грезящую, урчащую жухлыми вещами, разбросанными по полу. Дребезг слился с возгласом Люлю, бросившейся прочь в испуге. «Дурак!» — закричала Люлю и побежала домой, а Маэда с Прасковьей полезли в запретное место. Прасковья радостно гугукала и хлопала в ладошки, слезилась от восторга и даже не заметила, что разрешила руку остатками стекла в раме, желавшего как-то еще проявить себя, ведь слишком долго оно, стекло, бездействовало в простенке, уныло созерцая глухоту погребной стены, обитой толем. **13.** Внутри стекла свершалась драма в тот миг, когда оно решало: треснуть ли, осыпаться ли. Ведь все разрушается по собственной воле, самочинно поддаваясь внешнему напору. Никакая буря не сломит травинку, если та не дозволит, ни один зуб не размелет смородину в темную жижу, коли та не пожелает: любая вещь полна беспредельной твердости, каковая слабеет под уговорами воздействующего камня и смерча, кулака и пилы, зуба и кариеса. И каждый раз, решая, в какую сторону склониться, материя вещи мечется между формой и лишением, разговаривает с ними, колеблется, как широкая влажная щель в меловой глыбе, выбирающая между собственной холодной пустотой и телом змеи, когда та норовит вползти в расщелину, заполнить ее собой — нагретой на солнце гадюкой. Щель может и не впустить змию, вытолкнуть вон, и тогда он лезет в другую, более узкую и смрадную дыру, или же в третью прореху, с острыми белыми зубринами, царапающими клетчатый плащ шахматной гадюки. — Но вдруг навстречу вылезает соперник. Точно так же, как щель змее, вещь поддается лишению и разваливается в дребезг или, отрицая поползновения гибели, утверждает в целости. О чем говорят они, подлинные герои этой драмы: материя вещи, ее форма и гибель формы? Материя говорит: я — стон земли, я — похотливая глина, жажду принимать формы и распадаться в неразличимое, я — чреватая слизь, матка мира и булькающая расплывчатость, я — женщина в черном; форма говорит: я — циркуль, мера и замысел, я — мать контуров, отец предела и сон плотника, я — мужчина в белом; лишение говорит: я — зеленая плесень горгонзолы, я — трещина в чаше яноми, я — гибель сосудов, расколовшихся под тяжестью света, я — кровавость октябрьских кленов, я — тень Земли, надкусившая Солнце, и безрукость Венеры Милосской, я — трансвестит в красном. — Такова одноактная пьеса, предваряющая рдяный звон стекла. **14.** Со всем другой звук издают отрубленные головы, падая под ноги сюзерену, вспотевшие

головы: еще недавно болтались они, привязанные к седлу и нанизанные на копье доблестного Маэда Тосииэ, убийцы мастера чайной церемонии. Стремителен воин, и конь его белый в боевых ранах, а головы оттяпанные исказились гримасами скорее омерзения, чем страха, болтаются на скаку. Летит Маэда Тосииэ сломя голову, чтобы доказать преданность господину Нобунаги, мчит, чтобы поменять котелки его врагов на прощение. А в уме одно: не протухли б головешки дорогой, не утратили б в знойной пылище из-под копыт бодрость физиономий, узнаваемость. Иногда стопорил конягу — пр-ррр! — утирал настойкой морды воинов, кровящу шейную смывал с коняжьих ног. И тогда ему казалось, что черепушки тоже ухмыляются, как ненавистный Дзуами, этот сноб и зазнайка, презрительно морщивший лоб, когда Маэда неправильно брал чашу, или говорил слишком громко и глупо во время церемонии, или неумело хвалил утварь, цветы и свиток. Дзуами умел оскорбить одним полувзглядом, не нарушая приличий. И даже принимая смерть от меча воина, мастер чайной церемонии уничижительно ухмылялся, выставляя своего палача дураком. Ведь можно было заранее понять, что никто не поверит, будто Дзуами вытащил деревянный гвоздь из меча Тосииэ, вероломно обрекая того на гибель в бою — это слишком грубо, не в духе мастера, он был чересчур прям для такого коварства, так что предлог получился не в меру дешевым. Маэда понимал это, но ничего больше не сумел придумать и бросил нелепое обвинение, а потом сам себя заставил поверить в него, чтобы еще сильнее распалить гнев, который в нем и так свирепствовал, вызванный тонкими оскорблениями чайного мастера. Голова Дзуами продолжала беззвучно хохотать, потешалась злорадно, падая к ногам ошарашенного Нобунаги. Воина прогнали со службы не за убийство, а за непослушание, ведь Нобунаги строго-настрого запретил нападать на своего любимого мастера, но вскоре приняли обратно, когда Маэда Тосииэ притащил головы врагов своего господина. **15.** И такой-то урод-головорез, преданный начальству, был его предком и висел теперь японской ксилографурой в токонома? Зачем же наш второстепенный недогемой ежедневно созерцал кровавого прашура с копьем, униженным головами? Ясное дело, Маэда Богданович симпатизировал мастеру чайной церемонии, даже был на него похож язвительностью придирчивого взгляда, гравюра же напоминала ему о том, до какого тупоумия и ничтожества может скатиться существо, униженное природой. Досадно же распорядилась история: о мастере чайной церемонии почти ничего не известно, зато дебильно-доблестный предок висит картинкой, демонстрируя себя в наиболее подлых обстоятельствах: так официант поедает втихаря недоеденные канане, и вдруг входит История Павловна в нелепых рейтузах и фотографирует его. Кто бы мог подумать, что фото небрезгливого гарсона разлетится по всему миру и сделает ему честь; прибавим сюда то, что канане сработано из человеческих головешек. Короче, гравюра заставляла шевелить мозгами, трясти совестью, помогала Маэда не попасть впросак. Этот свиток был единственной постоянной собственностью Маэда Богдановича, остальное он продавал или выменивал, отдавал, терял, разбрасывал в переездах из хаты в хату. С тех пор как скончался его немногословный, тихий отец, любивший крекеры с луком и манные пироги, Маэда не возвращался в отчий дом. Ему досталось в наследство несколько драгоценных чаш сино, ключичная кость Джидду Кришнамурти, инкрустированные бирюзой курительные трубки для опиума и мухогонка с ручкой в форме волшебного гриба линджи и белым ворсом из оленьего хвоста. **16.** Случайный герой вытряхнул пепел папаши прохожей бабе на голову и, поместив богатство в свой сикхский тюрбан, полетел в Гуингнм. Он влетел в туманный промозглый хриплый город, где зеркалами облицованы брандмауэры домов и колонны дворцов, где зеркальными обоями кроют стены квартир. Он прилетел третьим классом на простом попугайчике; птица в полете кашляла, но доплелась-таки, в пути орошая нездоровым пометом селения. Делали пересадку в Сан-Хосе, народ прямо на взлетной полосе осиротело подби-

рал сброшенные попугайчиком перья: вид этих живописно оборванных, нищих, но по-азиатски щеголеватых людей заставил Маэда улыбнуться. Они смастерят из перьев паланкины, будут катать друг друга — за неимением господ. Сан-Хосе — дыра из дыр. Накрапывал слепой и тепловатый дождик, навевший алкогольный сплин, поэтому он купил в зоне дьюти-фри чекушку рома «Old monk» и выпил прямо из горла, уютно расположившись в зале ожидания со свежим номером журнала «Птюч». Сквозь стеклянные стены здания аэропорта просматривалась взлетная полоса: там попугайчик завалился набок и с болезненной ритмичностью раскрывал клюв, перья так и сыпались, а техники уже подвозили трап с огромным шприцем, чтобы вколоть птице папаверин.

17. Пройдясь по Гуигнгнму, внутрь домов заглянув, он так ничего путного и не нашел: где богемные посиделки, такие привычные для Черной Калитвы? — Здесь сборище тромбонистов, устроившись на сеновале, подражают они скворцу и горлице; там, взобравшись на ветхий плетень, диспутируют философы, матерясь в царя и в душу за метафизику слизи; а если пройти к Соленой речке, то встретишь театралов: голые и лысые бегают, вопя на древнегреческом, а потом падают в клевер, ноги растопырив, и айда намыливать друг другу и брить лобки-подмышки. Да что там говорить о тромбонистах, о философах, о театралах, когда в камышах, на холмах, в дебрях попрятались пропадающие, которых всю жизнь напролет влечет зеленая матка леса? Едва успев родиться, они уже тоскуют по изначальной смешанности. Повзрослев, самые пропащие тайно приносят в лес табуреты, столы, стулья и другие деревянные вещи, чтобы лес вернул себе некогда отнятое. Бурлит ли кипятик, журчит ли кран, шелестит ли страница — это будет музыкой пропадающих. Если пропадающий вовремя не вернулся в лес, у него появляется отдельный орган осязания; ведь когда-то зрение, слух, вкус и обоняние тоже были разлиты по всей поверхности тела, а не ютились в приспособленных органах. Пропадающие с легкостью нарушают закон: убийство для них — только помощь в переправе через пустыню в лес, воровство — развлечение охотника; прелюбодействуя, они чувствуют себя растениями, которые отдают семена ветру. Жилища пропадающих завалены дровами или книгами и похожи на дупла. Они любят кентавров, чей вид напоминает о предвечном сродстве всего сущего. Пропадающие всегда вежливы и куртуазны, иногда они сбрасывают листья перед близкими людьми, но вскоре сожалеют об этом. Их речь витиевата, как лесная тропинка. Ничего такого в Гуигнгнме Маэда не искал, ни тромбонистов, ни философов, ни театралов, и уж, конечно, никаких тебе пропадающих, скучно, мой друг, скучно. Всюду насекомые авто, интенсивности, арт-инсектарии, на брандмауэрах висят медицинские зеркала для обратного захвата серотонина, живые линии кочевряжатся на поребриках, копошатся в небе комья тьмы да сгустки света, и куда ни кинь — везде жижга стремится заработать на новых типах ускорения, и вихляют наглые орнаменты и сами не знают, зачем они так агрессивно собой прыщут. Ну и что? Обыкновенный биополис, каких по всему миру пруд пруди. **18.** Биополис: его дома, соборы, площади, его транспорт — все сделано из плоти, пульсирующей, теплой, похотливой. Кровь и лимфа бегут по артериям его жилищ, согревая обывателей, преодолевших отчуждение четырех стен, которые ныне усеяны похотниками: стоит провести рукой — и весь дом отзывается стоном благодарности. Живые кариатиды истекают на фасадах молоком: если прикасаешься к их сенсорным соскам, то фриз безотложно расцветает огромными орхидеями; увядая и падая, они тотчас превращаются в колоссальных бабочек, и те взмывают ввысь, орошая улицы наркотическим нектаром. Техника и плоть срослись в этом городе, где троллейбусы шевелят живыми усиками, перебирают лапками, жужжат и взлетают. Здесь нет даже смерти: старики падают в хвойную гущу трепещущих могил, в кислородный коктейль вечного растворения, в последний раз умывшись сладкими слезами, что струятся из каждого крана. **19.** Понаблюдав такие красоты, промокнув склизкой молоком Гуигнгнма, Маэда решил было воротить-

ся в приличное светское общество Черной Калитвы, но прежде (прихватив рекомендательное письмо с подписью мастера Инститориса) наведалься в Первую Ложу Великого Нахлыста Украины («!!П.Л.В.Н.У!!»). Что еще за нахлыст? Корни этого королевского искусства следует искать на берегах Нила. Большинство мастеров связывает его происхождение с мистериями Египта. Так Псевдо-Плутарх пишет, что нахлысту предавались жрицы Себека, богокрокоида. В Японии великое искусство нахлыста (тенкара) возникло в период Эдо, когда самураям приходилось реже охотиться за головами. Но классическая шотландская школа с тремя градусами сформировалась в 3599 году эры Набопаласара в Килуиннинге. Известны имена магистров этого периода: Альфред Роналдс, Фредерик Халфорд, Джеймс Огден, кроме того, нельзя не упомянуть великого Колмондели, чьему перу принадлежит «Большая Книга Нахлыстовика». Упомянутые мужи в своих трудах разработали устав трехградусного мокрого нахлыста, действующий до сих пор. Конечно же, классический шотландский стиль выработался не без влияния Юлианы Бернерс, настоятельницы монастыря St. Alban's, выпустившей в 3486 году эры Шака трактат под названием «Voke of St. Alban's», в котором сформулированы основные моральные принципы нахлыста, в частности, там сказано, что нахлыстовик должен быть человеком свободным и добрых нравов. Маэда еще в юности полюбил это искусство за то, что оно позволяет разнообразить досуг и бесконечно развивать навыки, ведь есть сотни мушек, собрать которые почти невозможно, на них такое клюет, что не рассказать словами. Если на «Краснозадую» (зеленые павлиньи перья, рыжие перышки с шеи петуха, на конце тела клочок из красного кордонета) можно поймать жалкую рыбешку, то на «Великий колокол», состоящий из бровных волосков президента Микронезийской Демократической Республики, античной геммы, красного полипропиленового жгутика № 3208 и ободранного пера черного петуха, на Дону ловится настоящая рыба-дхарма, а не какая-нибудь дрянная сахарная форель. **20.** Поэтому во все времена у нахлыста имелись враги, ведь он дает большую власть, а взамен требует лишь добрый нрав и некоторую ловкость. Обыватель не любит и боится нахлыстовика, непосвященный чувствует угрозу, и на то есть причины. Представьте себе ученого, который спешит защитить диссертацию, надеясь получить доступ к архивам, чтобы выкрасть какой-нибудь старинный документ и пустить его на искусственную мушку. Вообразите притворно влюбленного, который женится на дамочке только потому, что у нее есть малолетняя дочь с родинкой в определенном месте. Однажды эта женщина недосчитается мужа, а девчонка — фаланги безымянного пальца на левой руке. Как же так, ведь сказано в уставе, что нахлыстовик должен быть человеком доброго нрава, но здесь мы видим пример зловредного членовредительства? Это называется «горячая мушка», в ее состав могут входить, скажем, редкие штуковины, попавшие в аппендикс тридцатидвухлетнего мексиканца, весящего ровно 69 кг, любителя скабрезных анекдотов; или определенного калибра пули, прострелившие в 11 утра череп одноногой старой девы — и вот ищи ее по всему белу свету, чтобы вовремя хлопнуть. Горячие мушки нельзя применять просто так, их дозволяется собирать с особого разрешения Великих Магистров. Обычно поиск таких мушек и дальнейшая ловля на них связаны с мировой политикой. На горячие мушки клюют исторические события. **21.** Инститорис рекомендовал Маэда в качестве подмастерья в одну из регулярных нахлыстовых лож Черной Калитвы и дал ему задание — собрать и закинуть «Милую Машу»; как ее сделать? Пуговицу с пальто писателя Мамлюдова обмотать пиджачной нитью философа Хорожева, приклеить к смычке высушенный плод рудракши. На эту мушку в искусственных озерах Удайпура ловится различная невидальщина. Чтобы приблизиться к пальто Мамлюдова и к пиджаку Хорожева, Маэда решил втереться к ним в доверие, и для этого он принялся строчить философские статьи, писать художественную прозу. Выходило недурственно: через некоторое время он стал печататься в литературных журналах и сбор-

никах научных статей. Его библиография тех лет ужасает: он публиковался в никчемных оккультных журнальчиках, в изданиях богословского института, в праворадикальных альманахах и левацких брошюрках. Он добросовестно посещал конференции, вечера и прочие собрания не столько умных и талантливых, сколько честолюбивых и пронирыливых людей. Весь этот ил никак не влиял на его собственные литературные опыты. Как раз в те времена Маэда формулирует основные принципы сабражизма в литературе. Если говорить коротко, сабражизм — это яркая растрата первейшего слога пенного. Сабражизм не терпит повествовательных длиннот, это стремительное литературное транжирство. Сабражисты не гнушаются только лучшими винами языка и разметывают их брызгами по ветру. Сабражисты отдают все сразу, огорошивая читателя вероломством несдержанности, отравляя концентратами, эссенциями, ристретто. Кроме того, не надо забывать, что представители этого литературного направления всегда имеют наготове острую саблю. **22.** Маэда выступал с докладами на собраниях в камышах, на березе декламировал свои стихотворения в прозе, обзаводился богемными знакомцами, которые проводили время весело и духовно: кувыркались во вьющихся зарослях да терлись о бахчу, зачитывая друг другу Катутла до изжоги. В те далекие времена я тоже посещал подобные места, бродя по буколическим предместьям Черной Калитвы, и на одном из вечеров поэзии, посвященном творчеству Ардакия Маргодрошенко, я познакомился с Маэда. Так совпало, что мы оба вдрызг упились бежеровкой, а вокруг моргали трезвенники. Мы скоро нашлись, объединились в боевую двойку и стали колошматить поэтов, задирать юбки синим чулком, сабражировать, плевать друг другу в ноздри. Он пригласил меня отведать диких дроздов в заброшенном домике. Утром я обнаружил на своем сеновале, где коротал ночи славного термидора, себя в диком похмелье и рукопись, бережно прикопанную в сено. Мне не понравилась его длинная повесть, которую Маэда упрямо называл романом. Уже название показалось претенциозным: «Ньингма—Гуигнгнм». Произведение выстроено с помощью нескольких несуразных приемов: автор подменяет эпохи, передвигает регионы, не вдаваясь в подробности нового мира, например, он придумывает Россию, страну, сходствующую с окаянной Московией, только переносит ее территорию на место современной Речи Посполитой; произведение изобилует реминисценциями, но в измененной реальности должны же и персоналии быть другими, поэтому автор выводит писателя Дастаевского, напоминающего мучителя нашего и властителя дум — великого чахоточника Нарайона Бондопаддхая. Изменена хронология, в романе царит юлианский календарь, структуру которого Маэда исследовал в архивах УАН, и, как мне показалось, здесь он впал в неоправданный педантизм; кроме того, Маэда поленился прорисовать важные подробности нового мира, где существуют Верхняя Америка и Нижняя Америка с разными цивилизационными программами, на описание которых автор тратит всего несколько строк; возникает ощущение обмана и подлога... так жена смотрит на привычное лицо мужа, не замечая сбритости усов, супруг называет ее невнимательной, равнодушной дрянью и подает на развод, но в это же время они оба выигрывают в лотерею. Меньше всего мне понравилось грубое сочетание откровенной фантастики с вопиющим репортажем: он просто записал невыносимо рокайльным языком события своей жизни, практически ничего не меняя, разве только сблизил отдаленные происшествия. Что еще можно сказать о его произведении? **23.** Это длинная повесть или даже роман о том, как реки промерзают до самого дна, о фигурно сплетенных корнях, о судьбе дождевых капель. Книга о том, как с деревьев отслаивается кора, о путешествиях зерен по ветру. Книга о легких поездах, стремящихся из точки А в точку ? без единого кондуктора и машиниста, о стрелках вокзальных часов, вертящихся как попало, потому что не перед кем выслуживаться. О беззвучных колоколах, об иконах с пустотой вместо святых: трое ушли из-за стола, оставив кубок; иконы пустоты: пальмовые ветви, условные пейзажи, город

в нарисованной дымке позади ступенчатых масляных струев, никем не построенный, необжитый город. В книге описаны его улицы, дворы, площади, парки. В книге царит ясный бессолнечный полдень: звезда растворилась в небе, так что сияет сама синева. Площадь. Огромный циркуль (памятник) не отбрасывает длинной треугольной тени. Безоблачно, безветренно, тепло. Струи фонтана недвижно замерли в воздухе. Было бы тихо, ясно, благостно, если бы маленькие пестрые человечки не отыскивали книгу на полке и не влезли бы под обложку по длинной лесенке из черных прогоревших спичек. Они заполнили город, растопили струи фонтана, подвели часы, установили пункты прибытия отяжелевших поездов. Они стали работать машинистами, кондукторами, пассажирами, основали университет, институт, академию, исследовали речное дно, распутали корни, измерили скорость падения дождевых капель, они принялись звонить в колокола, подмазали святых на образа. Солнце завертелось вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца. Как-то раз даже стемнело и хлынул натуральный дождь. Иностранец закрыл глаза и представил, что это не дождь шумит за окном, а шуршат солнечные лучи. **24.** Нет, мне совсем не понравилась эта вычурная, фрагментарная, галлюциногенная повесть. Мы стали напиваться чаще. И порой вламывались на литературные мероприятия, чтобы раздолбить собравшихся снобов. Несколько раз нас расстреливали снотворными инъекциями, силясь утихомирить. Но вот однажды ему посчастливилось добыть пуговицу и нить. Это не составило труда: старенькие Мамлюдов и Хорожев совсем не следили за своими вещами. Мамлюдов заходил на мероприятия в верхней одежде, потом разоблачался и бросал пальто на какое-нибудь осиновое бревно, а Хорожев запросто вешал пиджак на сучок. Дело встало за рудракшей. В Гандикап Маэда прилетел на мадагаскарском экспресс-таракане, перелет был удивительно легким и занял всего три часа. Приземлившись, он тотчас нырнул в пестрые ручьи городских улиц, где красивые, довольные, неодинаковые люди, бродя, колятся и сигнала, наслаждаются нищетой и бытием, где тактильно чувствуется, как на место выхолощенного юридического пространства заступают космические среды. Стоит ли говорить о развитии обстоятельств? В Гандикапе все происходит в модусе анархических орнаментов, а не логики. Может быть, здесь всем давным-давно надоело заниматься удручающей чепухой? И вот они бросили и больше не занимаются, теперь просто сидят где-нибудь, иногда лежат на земле, довольные и худые. Маэда кое-как протиснулся в дхабу, ведь путь ему преграждала корова, на входе задумавшаяся, стоит ли посещать кафе, слюна с ее морды повисла над подносом с тхали мрачного бородато-безусого муслима в белой курте. Маэда заказал батата ваду, два самоса и халава-ширу. Корове предложили чапати, но та в ответ погрозила рогами, тогда ей полили бока водой, и довольное, охлажденное животное степенно удалилось. Доев огненные яства, Маэда забрался в сумчатую рикшу (помесь кенгуру и велосипеда) и покатил на рынок Чандни Чоук, чтобы там погрузиться в поиски рудракши. **25.** Что выбирают все эти люди, что ищут среди развалов невообразимого? Рухлядь и частицы бывшего, неоднородные предметы, еда, куски поверхностей, ткани, наркотики всех сортов, чаши, боги, оружие, весь мир вообще, сущее в модусе мешанины кишашей. Рикши ждут нового собирателя, чтобы высадить его не по требованию, а черт-те где. Самый тощий рикша отвезет тебя к подходящим ингредиентам. Не зря среди улицы расположились брадобреи, ведь одним требуется свежая щетина для ловли, а другим надо срочно сделать лицо гладким. На щетину хорошо ловится в реке Джамна, поэтому всюду продаются шарики сваленной щечной шерсти, к ним добавляют немного сладости гулаб джамун, — приманка готова. Эта искусственная мушка называется Vidanga Kapila Vati, на нее много всего ловится, если знать рыбные места. Однажды я видел, как садху забросил эту наживку в болотистую речушку Сал неподалеку от Маджорды. Спустя минуту он вытянул из реки стрекоду с сгустком зеленого света.

26. Но Маэда забрасывал не в Сал, ничего похожего на приморские штаты ему не светилося, хотя он превратился в истого колонизатора и теперь носит широкополую белую шляпу вместо тюрбана. Колонизатор бронирует десятки отелей по всей стране, чтобы напомнить о себе сикхам и джайнам, адживикам и последователям Праджнянанды. Он задымляет собой Гималаи, увлажняет собой пустыню Тар, где мозолоногие дромедары и бактрианы плюют солнцу в лицо. Если полюбишь верблюда, то можешь полюбить кого угодно, ведь у него страшно воняет изо рта, гласит местная мудрость. Поэтому верблюды символизируют любовь. Не снимая шляпы, Колонизатор входит в хавели, заказывает ром в храмах Гандикапа. Муравьи в его сахарнице сползаются свастикой, женщина в сари приносит банановую кашу его нездоровой красивой спутнице, которая смеется над заходящим солнцем, над всем неправдоподобно прекрасным пейзажем. Они попали в игрушечный белый городок: его населяют бесхитростные дети, прославляющие бога жизни, повсюду мармеладные алтари, горячие сладости, фруктовая кровь сахаренного мира. **27.** Спутница нашлась на одной из улочек Гандикапа. Маэда увязался за ней, не имея никакой надежды завладеть, но юбка все мелькала, не растворяясь в пестроте окружающего, в добром хаосе, где коровы свободно какают на землю. Здесь шел колонизатор, а юбка мелькала, не терялась. Где-то возле часовой башни, в толчее, показалось ему, что цель заметила преследователя и оглянулась, но нет, почудилось. Подле городского дворца юбка снова мелькнула. Около зоопарка — в нем вольеры пусты, никаких леопардов не видно, зато здоровенные вычурнозадые обезьяны бродят сами по себе, вне ограждений, хвосты завиваются, — юбка мелькнула и здесь, какая-то в черный горошек, светлый подол, тут не водятся такие. А далее, когда опивки муссона брызнули с неба, но ни капельки не спасли от жары и духоты, когда они, цель и преследователь с кокосовым орехом (через трубочку пил молоко), уже приближались к фуникулеру, который поднимает на холм к храму Карни Мата, она, девушка-горошек, вдруг возьми да и оглянись. Резко буркнула, с хитринкой и хрипотцой: а тебе-то чего надо, колонизатор? **28.** Деревья здесь бросают листья круглый год, поэтому говорить об осени бессмысленно. У каждой улицы есть собственный храм и своя молитва. Чтобы попасть в кафе, надо подняться на крышу — оттуда лучше видно, что ты в стране озерных богов, но путь к ним лежит через тайные хавели. Возьми рикшу за шестьдесят рупий, езжай на колокольный звон, зайди в храм черного бога. Ты увидишь, что в колокола бьет электрическая машина. Брахман купил ее на местном рынке. Все будут принимать тебя за шотландца, но ты не будь скотом, говори «Шрулгалала!» даже продавцам чараса и грамофонов. Рикша, жующий слова вместе с кровавой кашей бетеля, предложит джойнт. Когда поймешь, зачем здесь торгуют скафандрами, тотчас возвращайся. Желательно прихватить с собой побольше очаровательных спутниц, но на худой конец довольно будет и одной, а если эта одна Ламбруско, то считай, что тебе крупно повезло. Но кто такая Ламбруско? **29.** Ламбруско была одной из многочисленных жертв заговора надувных шариков: резиновые, сферические, разноцветные объекты, способные держаться в воздухе благодаря гелию, внезапно вошли в моду и распространились по всем праздничным ярмаркам Украины. Это была, конечно, реконструкция древнего культа: в незапамятные времена шары покупали детям, чтобы те ходили с ними, радуясь невесомости и яркости латексного куска мира. Зловредность культа состояла в том, что шары всегда улетали, лопались или постепенно сникали, превращаясь в жалкую тряпочку. Хуже всего на душе ребенка сказывался внезапный хлопок: только что целый мир болтался на ниточке, упруго натянутый, скрипящий под пальцами, но — бах! — и все, нет ни мира, ни прекрасного вакуума, в который не влетит муха, не зайдет муравей. Зеленый шарик Ламбруско лопнул в тот миг, когда она задумалась о выражении лица буквы «Е», о том, что эта буква, должно быть, много болела в детстве. После перенесенно-го удара Ламбруско полгода не могла какать без помощи клизмы и часто произносила

«е» без повода. **30.** Вспоминать ли ее детство, ее отца, патриота и подагрика, сосавшего грушевые леденцы да имбирное пиво? Он полжизни работал ночным швартовщиком, привязывал плавсредства к берегам и набережным, но всегда хотел бросить работу, потопить все суда в реках и морях, порвать все канаты на земле, все бельевые веревки обрезать. Когда отец купался в железном корыте, он всегда топил игрушечные кораблики: лодка из половинки подгнившего яблока, мачта с ветрилом из шила и детских трусиков Ламбруско. Папа дул в паруса, но корабль скоропостижно тонул. **31.** Вспоминать ли ее игры? Существуют очень мрачные детские игры. Речь идет не о шуточной молитве пугалу, когда ребята собираются на огороде и учиняют что-то вроде черной мессы; и даже злонамеренное хулиганство, как, например, подпиленная старушечья клюка, не касается того, о чем я толкую. Есть очень темные игры, когда дети сами не знают, чем они занимаются, хотя никто не заподозрил бы неладного, застав их за этими делами. В другой раз ребята разденутся в чулане и будут изучать анатомию, подсвечивая спичками, но это-то как раз чепуха. Зловещие игры похожи на странную инженерию, действия затрагивают пространство и время в их глубинных структурах. Во время подобных игр решается судьба вовлеченных, и лица игроков мрачны или просто серьезные. Они перекалдывают предметы с места на место, отмеряют что-то шагами, отмечают ладонями участки на стене. Мальчик набирает воду в стакан, идет на порог и выплевывает ее; спросите его, зачем он это сделал, — он не найдет ответа, пожмет плечами, а ведь это был именно тот стакан слез, который однажды прольет взрослый мужчина в самые печальные дни своей жизни. На несветлых огородах, в неожиданных парках, на задворках с чертополохом стоят друзья по злосчастью, но как только ритуал свершится — они разбредутся, чтобы больше никогда не сходить ни здесь, ни там, ни за ржавыми гаражами, да и вообще... А некоторые играют в одиночку, как, например, маленькая Ламбруско, которая прячет карту неизвестной местности под матрасом в своей васильково-василисковой постели, уже не лишенной секретов. Что там начертано? Круги да линии. А зачем же море, склеенное из воробьиных перьев, омывает материк, накапанный сырным воском? И булавка воткнута в жирный крест, поставленный на месте того самого т а м, где однажды Ламбруско предстоит утратить веру в чужую одушевленность: так глыба снежная падает с крыши зимней ночью, пугая задремавшую в подвале мышь. Только необратимо и губельно та глыба рухнет, завалив накрепко наивную веру. Но пока что — глыбам спать, птицам — греться в ночных барах под стойками, кошкам — окунать когти в мех января, мышам — почивать, а Ламбруско — чертить карту и крестики ставить. **32.** Вплоть до того времени, когда вдруг неожиданно-негаданно, как снег на голову, как черт из коробочки, не подоспеет перемена: весной отец купил ей велосипед марки «Джеймс Старли». Ламбруско тотчас позабыла карту и восседала теперь на здоровенном колесе и была Гелиосом на огненной колеснице, и средоточие жара находилось в изогнутом седле, спрятанном под колоколом юбки. Катилась под гору, не переставая педали крутить, и глотала крупные комья воздуха, и глотала птиц, и птицы вылетали снизу, из-под юбки, путаясь в подоле, и что-то вдруг откупоривалось там, пенилось — это довольная Ламбруско становилась игривым. Затем подолгу сидела у ручья, наблюдая, как подрагивает папоротник на ветру, как плющ обвиняет ракиту. А на другом конце земли расцветал кардамон. Путаясь в паутине, ломая ветки, проваливаясь в чернозем, пробежать по бревнам через ручей, сквозь заросли бешеного огурца и хмеля, чтобы затем сбросить шляпку, оседлать железного любовника и пойти на дно, где моллюски величиною с ладонь чертят в песке пентаграммы. Колесить по дну, распугивая неловких раков и ярких рыб. Акварель висит на условной стене в условной прихожей: сквозь рябь и дымку зелени проступают черты наездницы, и большое колесо велосипеда, и волосы, водорослями всплывшие вверх, и юбка, медуза колеблемая, и заднее колесо, грозящее раздавить прудовика, выстрочившего зрячие

рога свои. Видеть, как из ближних кустов с осторожным шумом взлетает цапля и растворяется в тумане, видеть угольные холмы, каменистую лесостепь и горелую корягу, слышать дальше кукареку и плеск ручья, где стеклянная щука глотает мальков, где купаются красные птицы. А в дождь? Как она любила кататься в дождь без исподнего: можно промочить сиденье и оросить колесо, приветственно помахая рукой целлофановому почтальону, а потом выкупаться в реке, не снимая платья. Беглецы дождя весело улепетывают, бросая до нитки промокшей Ламбруско изумленные приветствия, и не подозревают они, что по коленям и лодыжкам у нее текут удивительно теплые струи. А когда начнется всамделишный ливень с горячим градом, Ламбруско спрячется под собственным деревом: одинокое, в центре необъятного луга оно стоит, ожидая своей грозовой молнии. **33.** Все мы родом из Черной Калитвы, у каждого есть свое дерево, один поклоняется груше, другой тополю, есть соснопоклонники. Мы вгрызаемся в землю — как в память — и в память — как в землю, мы обнимаем толстый корень и прислушиваемся, как по нему, словно по водопроводной артерии, струится лимфа нашего общего детства, как внутри этой трубы носятся говорящие мыши да вкрадчивые падальщики всего забытого, розовые от удовольствия: стоит поймать одного, надрезать — и в лицо брызнет осенний цвет дикого винограда, по всей Черной Калитве побегут солнечные зайчики, а за рекою повиснет сизая туча; и снова Ламбруско промокнет дождем, и припозднившейся почтальон опять помашет ей протезом, а кто-то другой спрячется в моей роще: там нет места падальщикам, там земля всегда пахнет чаем, а в шишках ольхи хоронятся голубые ящерицы. Там стеклянные жуки пахнут сандалом. **34.** Есть у меня роща в одиннадцать стволов, где беспрерывно блестит ночь и моргают в кронах нервные звезды. Одиннадцать стволов трутся о тьму, не пропуская ни капли дня. Здесь можно пить виски «Black Label» с четырьмя женами, слушать стук дятла, созерцать цветы селенотропа, угощаться лунными плодами, что растут на ветвях и вскрикивают от надкуса. А когда вне рощи моей настает ночь, это называется тьмой внешней. И есть еще дупла в деревьях, где прячется третья ночь, темнее внешнего и внутреннего мрака, темнее зрачков четырех жен. **35.** О первых трех и говорить нечего, умницы, синие чулки, фотомодели, длинноногие псевдомонголоидки с натуральными светлыми волосами, стервы и лапочки, каждая пользуется ароматизатором кишечных газов, а вот Ламбруско стоит выделить жирным, курсивом и подчеркнуть. Ведь недаром вождь мирового пролетариата выбрал ее в качестве своей жертвы. Говорят, что в подземелье Украинского Кремля есть тайная комната с нижней половиной дедушки Л. Как известно, в мавзолее на площади выставлено далеко не все тело. Кое-кто утверждает, что к настоящему времени уцелело только 10 % дедушки, все сгнило, кроме рук и головы; другие уверяют, что в мавзолее нет паха и ног, которые доступны избранным депутатам верховной рады и самому Арнольфини: он один удостоен чести ублажать низ вождя мирового пролетариата. Согласно еще одной версии, нижняя часть дедушки Л. невидима, но зато может ходить и даже быстро бегать. Именно так: вождь народов частично улизнул от публичности, удрал от лебезящих депутатов и глубокой президентской глотки Арнольфини. Теперь носится по столицам, нападает на хорошеньких бабенок, задирает им подолы, стягивает трусики и вероломно брюхатит среди улицы. Невидимый, похотливый, свободолюбивый дедушка Л. снизу¹. Когда Ламбруско была подростком, она поехала на экскурсию в Гуингнм. И там ее изнасиловала невидимая часть вождя. Но ей удалось избежать беременности, так как низ дедушки кончил ей в глаз. Поэтому один зрачок у Ламбруско был в форме пятиконечной звезды. **36.** Из всех моих жен одна только Ламбруско интересовалась ловлей нахлыстом, остальные, как только заходила речь

¹ Есть тайная версия: дедушка Л. познал буддийскую пустоту и почти ушел в нирвану, но дхармовое тело его было слегка повреждено оккультными пулями Шри Дэви Каплан, поэтому вождь достиг просветления наполовину.

об искусственных мушках, тотчас надевали хиджабы и улепетывали. Нас познакомил Маэда, когда я вернулся из Вифинии. Я сразу заметил, что она весьма недурственна. Ламбруско стала расспрашивать о поездке, много ли я там заработал. Я отвечал уклончиво, потому что вернулся ни с чем. Впрочем, оправдывался я, все воротились несолоно хлебавши, а дело в том, что претор наш оказался свинья свиной. Но Ламбруско была уверена, что я, во всяком случае, добыл там людей для носилок. Я решил прихвастнуть и сказал, что это само собой, здесь, конечно, мне повезло больше: добыл я полдюжины здоровенных мужиков, чтоб таскали мою ветхую койку. А Ламбруско взялась меня упрасивать: одолжи, говорит, мне своих мужиков, дескать, добраться надо в райцентр к гурудваре. Пришлось увилывать: мужики, говорю, и не мои, а приятеля, но как бы мои, потому что пользуюсь вроде как своими... поди ты, говорю, к черту, нельзя уж и помечтать. С трудом от нее отбоярился. **37.** Вскоре выяснилось, что у Ламбруско маленький ротик, совсем крохотный, как у японских девочек. Да еще и свернутая челюсть — внешне это никак не проявлялось, личико у нее ровное было, не скособоченное вовсе, но с крупной морковью, сигарами и тому подобным она справлялась нелегко: приходилось ей слегка вывертывать челюсть, щелкать ею, чтобы та отворилась как надо. Ее ротик сам собой не раскрывался достаточно широко, но — щелк! — и Ламбруско готова принять морковку. Устраняя поломку, она каждый раз смущалась и отворачивалась. Работоспособным рот ее бывал не дольше минуты, потом снова приходилось налаживать². Меня это даже веселило, ведь я и сам разбитый, склеенный кое-как, лишь с виду цельный и прямой, а внутри запаянный, перевязанный, нескладный. **38.** Ламбруско собирала всякие редкости, например, была у нее коллекция открыток с видами небесных полос. Это необычное явление доисторических времен до сих пор привлекает многих своей поэтичностью: полосы, разрезающие небо, разной ширины и густоты, совсем тонкие полосы-нити, толстые дымные черви, перекрещенные и параллельные. Что это? Первые исследователи говорили об искусственных облаках, созданных древними аграриями, но потом все поняли, что полосы принадлежат двигателям реактивных самолетов, существовавших не дольше трех столетий. В наше время трудно представить, что технологии могут сочетаться с поэтичностью, что воздушное транспортное средство способно порождать целые орнаментальные миры и гадательные техники. Ведь по линиям предсказывали будущее, прогнозировали погоду, предвещали войну. Эрнст Судзуки утверждает, что жрецы небесных линий занимали руководящие посты в обеих империях в период Двуглавого конфликта. Недаром словесная поэзия и живопись тех времен отличаются скудостью: история знает великие эпохи, когда искусства сливаются с жизнью. **39.** Ламбруско подарила эти открытки Маэда, чтобы хоть как-то утешить его. Когда она ушла ко мне, Маэда, как любой порядочный сабражист, не подал виду, мы продолжали буйствовать сообща, теперь уже втроем, и славить Катуллу, но вскоре мой друг вступил в секту созерцателей розовых облаков и до неузнаваемости переменялся. Созерцатели розовых облаков стоят на поросшей травами равнине, запрокинув головы, касаются друг друга длинными распущенными волосами, когда тому благоволит ветер — это называется «церковным общением». После захода солнца самые благоразумные из них откупоривают бутылки розового вина, достают бокалы и землянику. Они, конечно, не пьют, но просто смотрят сквозь стекло. Ягода в вине олицетворяет солнце. Потом кто-нибудь пьянящей обильной слюной плюет в лицо ближнему своему или разбивает бутылку о голову. И тогда начинается «Час гнева»: созерцатели раздирают одежду, вырывают клочьями траву и волосы, избивают локтями землю. Затем они расходятся: мрачные, опустошенные, чтобы встретиться снова на этой большой равнине. Может быть, через неделю, если субботний вечер будет достаточно облачным... **40.** Может быть, не созерцательные практики сделали Маэда неразговор-

² Ламбруско утверждала, что челюсть ей сломал дедушка L., обладатель чудовищного прибора.

чивым, серьезным и притихшим. Он даже поэтов теперь избивал без энтузиазма, но более озлобленно, все норовил вдарить в пах или под дых. Вопреки этой тяжелой перемене его характера, мы не расставались, совсем наоборот: наше трио еще больше сплотилось, и Ламбуско была красной королевой между черных королей. Каждый из нас осознавал свою роль господина и каждый понимал, что господа объединяются очень редко. Мы не соревновались, но действовали заодно, как-то по-товарищески, ничуть не завидуя и не гордясь. Вероятно, мы не были господами друг для друга, но господствовали над теми, кто предлагал нам тепло и хлеб. В Черной Калитве мы переходили из дома работницы в дом рабочего, мы гостили у садоводов, у швартовщиков и редакторов, обходя стороной беззаботных театралов и пропадающих; мы сеяли раздор и смуту, учиняли поломки. Как же мы любили разрушать убогий быт этих бесхитростных людей, которые давали нам все: пищу, кров, постель. Ненароком смахнуть со стола чашку, такую дешевую калеку, но ценную для хозяев, а потом исподволь наблюдать, как они душат свое накотившее негодование, или жечь попусту свет в комнатах, лить воду ночь напролет — таковы были наши любимые развлечения. И люди терпели, питая уважение к нашей беззаботной праздности, они работали с утра до вечера, всегда испытывавая нужду. Пускай хлеба имелось вдоволь, но так уж повелось испокон веков, так жили многие поколения: они трудились, чтобы захватить кусочек свободы, страшась вновь стать ленивыми животными леса. Кладовые ломались от яств, но голод не проходил: оккупированные ломкими вещами, человечки недовольно копошились в подручном. Они работали, чтобы поддерживать свои контуры, боясь превратиться в то аморфное нечто, которому они были так опасно родственны. Одно за другим перелистывались поколения, мужчины и женщины, усердно трудящиеся, рождались, завидовали, умирали, но раз в двести лет являлся обратный человек: он с детства интересовался крошечком и дребезгом, он портил предметы, растрачивал припасы. Как правило, родители быстро разгадывали, с кем имеют дело, и с достоинством принимали священный жребий. Почему они всю жизнь задыхались в работе, перед кем трепетали они? А вот перед ним, родившимся: он представлял здесь от лица страха; окруженный рабами, он господствовал исконно. Почему его терпели? Потому что понимали: только благодаря праздному господину они карабкаются вверх — в страхе перед ним, в надежде, что когда-нибудь смогут уподобиться господину. Конечно, они втайне желали тирана свергнуть, но боялись в этом признаться даже собственным ресницам. Ведь только лицо господина заставляло их стараться, только благодаря господину они не превращались в стадо самодовольных зверей. Они копили-берегли, он — растрачивал-истреблял, тем самым одаривая их жизни смыслом. Его госпожа — смерть, созидаящая все возвышенное. Если начиналась гроза, он радовался, если буря ломала деревья, он ликовал, он кромсал шторы на тонкие полоски, он мастерил из говяжьих вырезок мясные галстуки и наполнял сливные бачки сортиров глазными каплями. **41.** Будучи господином, нахлыстовиком и даже сабражистом, время от времени Маэда вел себя недостойно и грешновато, скажем, заимел привычку избивать поэтесс. Ни я, ни Ламбуско — мы не одобряли подобные практики. Однажды он с разбегу вмазал между ног лауреатке премии Ардакия Маргродроченко. Она, премированная, весьма гордилась печатью поэтической признанности, красовавшейся на тощих ягодицах лица. Хотя лауреатка была давно и несчастно влюблена в Маэда, он ее терпеть не мог за бледную немочь слога. И вдарил ей ногой в пах. Поэтесса тотчас потеряла сознание, а Маэда расстреляли снотворными инъекциями да поволокли в отделение хуторской полиции, где продержали тринадцать суток, потом высекли розгами на выгоне. Так мой друг растрачивал себя на всякую падаль, и порой мне казалось, что ему невозможно помочь. Но как-то раз, просматривая свои немногочисленные вещички, желая найти курительную трубку и полипропиленовый жгутик № 1232 для новой искусственной мушки, он вдруг наткнулся на ксилогра-

вюру, давно прозябавшую в пыли: Маэда Тосииэ все еще скакал на коняге и был с копьем, а на копье — головы. Видать, я тоже стал головы нанизывать, подумал Маэда, тотчас вспомнив голову жены главного редактора маргинального литературного журнальчика «Наполнитель»: в прошлую пятницу эта голова дрыгалась и хлюпала у него между ног не меньше получаса, в то время как муж-редактор валялся у ручья, избитый и пьяный, а рядом ползала его двухлетняя дочка. Сверху на субтильное копье нанизалась премированная голова влюбленной поэтессы. Какой ужас! — воскликнул Маэда и пошел заваривать воробьиные язычки. **42.** Пока этот прирожденный головорез давился раскаянием, я всерьез вознамерился стать профессиональным нахлыстовиком. Но догадывался, что не так-то просто получить посвящение в подмастерья. Маэда, узнав о моем решении, принялся отговаривать, но вскоре согласился написать рекомендательное письмо Инститорику. Заполучив желанную бумажку с подписью и личной печатью подмастерья Маэда, я примчался в Гуингнм. Как раз намечались выборы суверена Великой Украинской Империи. На деревьях развесили портреты единственного и самоочевидного кандидата — Арнольфини. Рожа вождя украшала (временная татуировка) лбы мальчишеские, а на ягодицах семиклассниц (штанишки с вырезом) красовались предвыборные мотто: «Арнольфини. It's just me». Когда я пришел по адресу Первой Ложи Великого Нахлыста Украины, меня не пустили внутрь (членистоногое здание с несовершеннолетними похотливыми кариатидами, которые истекали месячной кровью и краснели от стыда), но рекомендацию взяли, велел подождать на улице у входа. Затем ко мне вышел человек в маске добермана, прошептал на ухо адрес и ретировался. Что мне оставалось делать? Когда приходиться по адресу — этого мне не сказали, поэтому я тотчас направился в означенное место. Там располагался обыкновенный государственный банк. На входе меня встретили два ливрейных лакея и сопроводили в подсобное помещение, где, сидя на курульном стуле, уже скучал Инститорику: гладковыбритый мужчина в розовом фартуке с желтыми свастиками. Инститорику перво-наперво снял с меня мерки, словно портной, приказал встать на весы, поинтересовался, обрезан ли я и вырезан ли у меня аппендицит. Оценивая данные, он устало вздыхал и танцевал бровями, а потом, выписывая рецепт, сказал: «Ну ладно, нах, станете оглашенным. Три месяца поползаете, нах, собирателем³, затем попробуете связать „Сухую Ведьму“. Уверен, что со специальной литературой вы знакомы». Я стал перечислять классические труды по нахлысту. Инститорику ехидно скорчился. Неподалеку стоял ломберный столик, но я заметил его только теперь, когда на него указал Инститорику, он заявил, что в моем распоряжении пять минут. На столике была разложена всячина. Я сразу понял, чего Инститорику от меня хочет. **43.** Подойдя ближе к столику, я увидел следующие предметы: тюбик зубной пасты, ключ, спичечный коробок, расческу, пульверизатор, наручные часы, костяные бусы, линейку, молоточек, очки, намордник, брусок лыжной мази, карандаш, вилку и несколько катушек полипропиленовых жгутиков разной нумерации. Я принялся ощупывать предметы, вертеть их в руках, палпировать, нюхать и подносить к ушам, чтобы вслушаться в тайную жизнь каждой вещи. Был полдень, подсобка банка освещалась огромными светлячками, я не мог правильно определить влажность воздуха, но температуру по Цельсию установил довольно точно. Оставалось две минуты до конца экзамена. Я схватил зубную пасту, выдавил немного на линейку, сверху положил расческу, на которую нанес лыжную мазь, и крепко связал полученную смычку жгутиком № 200. Затем я бросил мушку на пол в двух метрах от

³ Сбиратель шупает окраины деревень, обследует безлюдные хутора. Он заходит в сарай, изучает мастерские, где напильники-молотки-рубанки образуют орнаментальные смычки. Сбиратель ночует на чердаках заброшенных домов, а на рассвете гадает по ячейкам в осиных гнездах. Из каждого дома он забирает одну вещь. Собрав десять предметов, он идет к реке, чтобы поместить находки на линии стыка воды и песчаного берега.

себя. Работники и работницы непрерывно входили и выходили из подсобного помещения, маячили туда-сюда, не обращая на нас внимания, открывали ящички, запертые на сколопендровые замки: стоит неправильно набрать код, и получишь ожог и полный зашиворот многоножек. Одна достаточно пышная работница заметила мушку и нагнулась поднять, причем так неловко, что слишком узкая юбка задралась, обнажив подвязку над чулком. Что-то хрустнуло — это разошелся шов на юбке сбоку, а потом новый предмет брякнулся на пол, он выпал из промежности работницы. Это был ароматизатор кишечных газов. Такое случается, когда сфинктер ослаблен аномальной эксплуатацией. Барышня распрямилась. В одной руке она держала мою мушку, в другой — ароматизатор. А вместо лица у нее было такое, что я чуть в штаны не наложил. Так или не так, но теряя сознание, я чувствовал радость, ведь был уверен, что экзамен сдал успешно. Впереди меня ждал сезон собирательства, из-за которого я отвлекся от любви и отдалился от Ламбруско. **44.** Ведь Любовь — это совокупность элементов, разнородная множественность. Нельзя любить человека, можно пребывать среди тайного собрания вещей, внутри исключительной коллекции обстоятельств, где каждая мелочь имеет значение. Поэтому любовь оказывается такой хрупкой и недолговечной штуковиной. Мушка держится некоторое время, а затем распадается, магия чахнет. И вдруг ты замечаешь дыры в холсте, коллаж разваливается в руках. Любовь — это вид искусственной мушки, один типаж совокупности среди многих. Есть совокупность отчаяния, встречаются замысловатые, неопределенные спайки, но существует еще высшая мушка, окончательное собрание. Зачастую люди довольствуются простыми соединениями: книга-кофе-сигареты, вино-женщина-ночь, солнце-море-отпуск, намордник-стробоскоп-гребля. Есть общедоступные усложненные мушки: вечер-дождь-деревня-мокрые-цветы, друг-философия-новыйпиджак-город, путешествие-молодость-чистаясовесть. Нет конца союзам вещей и обстоятельств: они рождаются, источают свет, ссорятся и расходятся, среди них встречаются воистину великолепные шедевры, тончайшие произведения, но только одна, высшая, мушка никогда не разваливается, в ее центре стоит алмаз, который обеспечивает постоянство этой крепкой спайки, единосущной и неслиянной. Сложнейшие мушки стоят ближе к центру, общедоступные бесконечно удалены от него, но даже они обязаны центру малым величием и временным бытием. Если бы все периферийные мушки не распадались, то не было бы шанса достичь центра, который состоит из нескольких ингредиентов и кусочка смерти. Любимые совокупности элементов опасны тем, что создают иллюзию постоянства, привязывают к себе, отвлекая Собирателя от поиска центральной спайки по имени Хрил Мрил Шрун. Поэтому, несмотря на всю замечательность и превосходство отдельных соединений, следует видеть в них только отблеск Центра, лишь ответ Хрил Мрил Шрун. А как же отец? Если бы не было памяти, то не было бы чувства, но память — это набор. Вот отец курит морковный табак, вот листает альбом художника, вот он дремлет в кресле, вот что-то тихо говорит. А вдруг отец сойдет с ума⁴, изменится до неузнаваемости, станет вырезать саблей иероглифы на боках скаковых коней, а внешность его погибнет в уличной трагедии, например, асфальтовый каток нечаянно раздавит нос и губы?.. **45.** Отец или не отец, каток или лоток, нечаянно или нарочно, скаковые кони или просто пони, но вскоре, немного стряхнув с себя пыль собирательства, я заметил, что Ламбруско все больше времени проводит с Маэда. Она стала редким гостем на моем сеновале, и в роще моей уже

⁴ Или не вовремя делает скачок с переворотом. С большинством людей это происходит случайно: вдруг девяностолетний старик становится капризным и бойким, словно ему девять лет, а дело в том, что перевернулись цифры возраста: было 90, стало 09. Хуже всего, когда скачок с переворотом нечаянно совершает двадцатидевятилетний человек — все, теперь он в душе девяностодвухлетний дед. В тридцать один год можно перевернуться в тринадцатилетний возраст, а в тридцать пять вдруг стать пятидесятирехлетним. Врачи-геронтологи рекомендуют делать скачок с переворотом в 52 года.

давно не было слышно ее песен и смеха. Я слонялся один по Черной Калитве, боясь встретить их вместе. Одолевала ли меня ревность? Во всяком случае, я не хотел допытывать Маэда. Мы продолжали встречаться втроем, но исключительно для практики нахлыста. Маэда совсем опустил в последнее время: перестал носить жилеты, увлекся книгами Ильенена и атональной музыкой, бросил созерцателей розовых облаков, ибо цвета и формы его теперь не впечатляли. Он стал придерживаться еретического учения, согласно которому ничего не надо делать, даже практиковать нахлыст, ведь постепенно все вещи мира сами соединятся в искусственные мушки. Однажды мой друг сказал, что пропадающие — это просто-напросто отребье, воры и убийцы, они прячутся в лесах от правосудия... и ничего в них романтического нет. Он перестал ходить в мою рошу, заявив, что если в ней и водится какая-то тьма, то это тьма комарья и гнуса. Что касается небесных линий, говорил Маэда, то это просто следы от летающих машин, в которых ничего особенного не было, такие же мадагаскарские тараканы и попугайчики, скорее всего, только железные. Дни напролет он сидел один в обширном погребке, трескал соленые томаты да стучал молотком по сковородке. От нечего делать он завел собак и теперь выбирался на свет лишь для того, чтобы покормить собственными глистами двух ларс фон терьеров. Иногда к нему в погреб спускалась белобрысая Ламбруско. **46.** Погребное ли затворничество Маэда, или что-то иное подтолкнуло нас троих к экспериментам? До сих пор, удя на блондинку, мы практиковали только сухой метод нахлыста, оставляли приманку на суше: на дороге, на крыльце, у колодца, на поляне, на лугу, в погребке, в чулане, в конуре и т. д. А теперь, посоветовавшись втроем, решили попробовать мокрый нахлыст — забросить Ламбруско в реку, привязав к ней кое-какие ингредиенты. Эта искусственная мушка называется «Влажная Ведьма», ее изобрел магистр Инститорис. На «Влажную Ведьму» следует ловить в предзакатные часы в илстых заводях. Главная часть мушки — блондинка. Ей надо вставить в рот баклажан, крепко связать запястья и лодыжки урановым жгутиком № 1000 (этот жгутик нелегко достать, но вы можете заказать его прямо в издательстве, доставка бесплатная), перед забросом необходимо вложить девушке в одно из свободных естественных отверстий несколько рупий или две-три микронезийских кроны. Бросать в воду эту искусственную мушку следует аккуратно, не создавая слишком большой плеск. «Мокрая ведьма» хорошо подойдет и для зимней рыбалки, но тогда рыбакам понадобится прорубь в форме неравнобедренного треугольника. Если девушка участвует в нахлысте принудительно, то придется вколоть ей небольшую дозу морфия. Инститорис вылавливал на такую приманку невероятные диковины. **47.** Морфий нам не понадобился, Ламбруско была в восторге от этой затеи, но возникли сложности с баклажаном: она долго не могла держать рот широко открытым, челюсть у нее была сломана, то и дело приходилось ей рот налаживать — щелк! И корка снега, пока мы пробирались к треугольной проруби, хрустела под нашим шестиножием сходственно: щелк-щелк, ведь был такой ужасный холод, что даже голуби заледеневали в полете, падали и разбивались вдребезги о задубевшую почву, стоит ли говорить о плевках? Можно было слюной выбить кому-нибудь глаз. Пурга, метель, сугробы — есть где спрятаться пропадающим, и только разноцветные помпоны их шапок мелькали во вьюжном хаосе плювиоза то здесь, то там. А театралы, воздвигнув колоссальную ледяную сцену, сидели на ней в пышных шубах, под которыми не было исподнего. Шубы иногда распахивали — этим ограничивалось действие минималистского спектакля. Театралы лишились зрителей: кому охота мерзнуть, чтобы поглядеть на синюшное тельце? Созерцатели розовых облаков угрюмо постились, скрывшись в теплых норах. Зима старалась чрезмерно: так много белого, что кажется, вот-вот появится оккультная снегурочка, принцесса минусовых температур, дама с красивыми пальцами. Зимняя страсть горячее. Вот и Ламбруско была горяча и прятала свои нежные ладони в широких карманах наших пальто.

Нахлыстовики, собиратели, сабражисты, господа всегда носят пальто со здоровенными карманами, ведь есть что складывать. Так почему бы не сложить там свою руку с рукой прекрасной дамки? Правую она предоставила мне, левую — Маэда. И так шла, окунув свои длани в карманную теплоту и тесноту. Приятно. **48.** Мы ее связали быстро, Маэда предоставил мне право положить несколько рупий внутрь. От холода плоть Ламбруско уже синела, красные пятна появились в тех местах, куда попадал снег. А холодной воды она не боялась. Загодя мы вывернули ей челюсть, немножко ее доломали, чтобы баклажан входил прочно. Шутки ради Ламбруско на бедре вытатуировала Щелкунчика; я разгадал, что Маэда тоже видит картинку впервые, а Маэда понял, что я удивлен не меньше его — это сблизило нас. Связанная обнаженная Ламбруско ничего не могла нам сказать (баклажан мешался), но звучно моргала. Вьюга немного успокоилась, и мы отчетливо слышали, как пощелкивают веки — еще одна особенность ее. Бывало, когда я лежал с ней на одной подушке, прижавшись лицом к ее щеке, то знал наверняка, что Ламбруско не спит, моргает. Мы вместе с ней смеялись над этими щелчками. А теперь выяснилось, что подмастерье Маэда тоже с ними знаком. Сидя на краю проруби, она стала моргать сильнее, рьяно, похоже, хотела рассмеяться, но не могла, конечно. Мы закрыли глаза и некоторое время слушали, а потом одновременно толкнули ее. Ламбруско пошла спиной вперед, последними погрузились ноги с накрашенными ноготками. Нахлыстовики стали ждать, но ничего не произошло. Глуповатый темный треугольник указывал длинным углом на Запад, может быть, из-за этого сорвалась? **49.** Когда Ламбруско пропала, мы, осиротелые черные короли, осознали, что втроем с ней образовывали искусственную мушку, на которую ох как хорошо ловилось. Всякая невидальщина, орнаментированная веселым голубым снегом и молодостью незаспанных утр, даром отдавалась нам — как завидная красotka обаятельному вертопраху. Вся наша тоска и мученья наши были жиром земли, а самые гадкие разочарования тех дней теперь казались редкостными авантюрами в зеленодымной сказке. Порой мы думали, что прозябаем в скуке, а ведь на самом деле вальсировали. Мы смеялись и безобразничали в этих маковых полях. И — видит бОг — ни разу не подумали о том, что можно переспать втроем. Нет, мы были чистыми — как стиранные простыни бабушки Параша. А почему они такие необычно чистые? Да потому, что Параша использует стиральное дупло в дубовом лесу: специальный барабан, встроенный в древесную дыру, прополаскивает белье вперемешку с желудями. Не стесняйтесь, заказывайте дуб со стиральным дуплом прямо сейчас и получите в подарок пакетик отбеливающих желудей. **50.** Через несколько месяцев после той злополучной зимней рыбалки Маэда уехал в Магритт, где поступил в университет на факультет метаматериаловедения и стал изучать усталостное разрушение и кристаллическое мортидо. Поговаривали, что он пытался организовать нерегулярную нахлыстовую ложу — с лишними градусами посвящения и запрещенными горячими мушками; какая-то ересь. Регулярный классический нахлыст ему обрыднул, впрочем, как и мне. Я взялся постигать йогачару в Богучаре, куда меня случайно забросила Ананке, но это, дружок, уже совсем иная повесть. **51.** Так или не так, но в Калитве нашей по-прежнему и по-будущему, как и во все времена, нервничал день и клялся, что бросит освещать предметы и вещи, перестанет бликовать на стенах, уволит солнечных зайчиков, лишит кроны ветряного шума, изведет облака и крики детей в полдневной дымке отменит. Дню надоело, если не сказать — опротивело, день решил прогнать всех млеющих кошек в темноту, очернить себя, оклеветать сумраком, и буквы скрыть и слова. И все бы ничего, все бы продолжалось, цаплям бы леталось, каплям бы падалось, смеркались бы струи строк на исходе каждой страницы, а на новой опять бы вызвездывался текст — и так вплоть до пьяной, завалившейся набок восьмерки, но писателю надоело створаживать язык, захлебываться тягучим киселем лакомой речи, спаривать память с вымыслом. Писатель поплыл ужинать, ведь ужинать надлежит рано,

когда нет mosкитов, и только в лодке. Ужин вне лодки дурно усваивается — к этому выводу пришли полинезийские ученые, исследуя сычужный фермент человека. Лодка нормализует состав соляной кислоты желудочного сока. В лодочной среде сычужный фермент относительно стабилен, вне лодки он теряет активность. **25.** Поэтому, когда день покажет спину, отправляйся через пустырь: там свистят байбаки, там коровяк-верба-скум да крикливый чертополох стоймя стоят, а все прочее разнотравье с тимьяном во главе стелется мильфлером. Через пустырь да луговую брешь — к роднику в ольховой роще. Здесь набери воды, но не задерживайся, минуй овец шумное стадо и пастухов, рассевшихся в тени деревьев. Следуй мимо питомника, где разводят библис гигантский. Остерегайся закругленных тропинок, не блуди тут, к черту! — не то попадешься копытному плясуну — запугает. Держись левее, отслеживай каждую пятую ракету и сворачивай вкось, а как минуешь десять ракет, беги в лес, там пауки да лисы. Выйдешь вскоре на песчаннейший берег, чистый до необычности. Повсюду река давно зашестинилась прибрежной травой, а здесь такая дюна райская. Вались в песок, но гляди не сварись, а лучше прыгай в лодку. Ключ от замка, как повелось, найдешь в песочном замке: раскрой ракушечную створку. День уже клонится, как любовница, холмы — это бедра дня, они движутся, а лодка стоит. И надо признаться, стоит на какой-то непонятной сущности. Слово из четырех букв ни о чем не сообщает: можно быть на поверхности этого, можно заполнить им свое нутро, а можно и вовсе наполнить его собой. На чем же покоится лодка? Двигутся деревья и ползут холмы, а ты поместил доску на борта и разложил на ней снесь да горелку, чайник да голубую голову сыра, дюже ароматного, как подмышка Столяра Бесина. Нюхал ли ты подмышку столяра Бесина? Если нет, вслушайся в запах сего благородного пищевого продукта — так примерно должна пахнуть подмышка и стопа столяра, ошеломительный сыр! Вовсе нет течения — река лилась, но застыла, струилась, но вдруг остановилась, а холмы ползут себе, черные угольные холмы, как набитые щеки негроидного норвежца, который пережевывает печеного крота. Холмы неактивированного угля — залежи. На холмах растут вкусные груши, но лень пришвартовывать лодку. Неспешно ужинай в своем челноке, беззаботно: ни чайка, ни сапсан, ни путто не спикируют, не уступят сырной страсти, а будут парить высоко над черными холмами, завидуя тебе, поглотителю. Никуда не плыви, пускай плывут холмы, берега да плакучие ивы, тихо скорбящие, а поднимется ветер — они в истерике, ивный припадок: плашмя бить плетью по воде. Как увидишь рыбаков, позови к себе берег незамедлительно, пускай придвинется ближе, вплотную. Присмотрись к удильщикам: один из них деревянный, отверти ему голову, как лампочку, запусти руку в полое туловище, найдешь там опилки, лимонную карамель, иглы дикобраза и шляпные ленты, но будь осторожен! — в деревянных рыбаках водятся хищные гржвгпдргчины, могут укусить, и заболеешь чесом. Мармеладный глаз деревянного рыбака и кусочек смерти насади на иглу дикобраза, привяжи красную ленту. Получится мушка под названием «Почти что Хрил Мрил Шрун» — забрасывай! Можно выловить ресницу бОга, скрытую страницу этой повести или несколько счастливых лет жизни.

*Фрюктидор — фример
2148 г. эры Свободы Израиля
Раджастхан*